

Жена — эпизод 5 из 19

Из-за одного клочковского кабака одиннадцать человек в арестантские роты пошло. Да... И теперь, гляди, то же самое... В четверг у меня ночевал следователь Анисьин, так вот он рассказывал про какого-то помещика... Да... Ночью у помещика разобрали стену в амбаре и вытащили двадцать кулей ржи. Когда утром помещик узнал, что у него такой криминал случился, то сейчас бух губернатору телеграмму, потом другую бух прокурору, третью исправнику, четвертую следователю... Известно, кляузников боятся... Начальство всполошилось, и началась катавасия. Две деревни обыскиали. Позвольте, Иван Иванович, сказал я. Двадцать кулей ржи украли у меня, и это я телеграфировал губернатору. Я и в Петербург телеграфировал. Но это вовсе не из любви к кляузничеству, как вы изволили выразиться, и не потому, что я обижался. На всякое дело я прежде всего смотрю с принципиальной стороны. Крадет ли сытый или голодный для закона безразлично. Да, да... забормотал Иван Иванович, смутившись. Конечно... Так, да... Наталья Гавриловна покраснела.

Есть люди... сказала она и остановилась; она сделала над собой усилие, чтобы казаться равнодушной, но не выдержала и посмотрела мне в глаза с ненавистью, которая мне была так знакома. Есть люди, сказала она, для которых голод и человеческое горе существуют только для того, чтобы можно было срывать на них свой дурной, ничтожный характер.

Я смутился и пожал плечами.

Я хочу сказать вообще, продолжала она, есть люди совершенно равнодушные, лишенные всякого чувства сострадания, но которые не проходят мимо человеческого горя и вмешиваются из страха, что без них могут обойтись. Для их тщеславия нет ничего святого.

Есть люди, сказал я мягко, которые обладают ангельским характером, но выражают свои великолепные мысли в такой форме, что бывает трудно отличить ангела от особы, торгующей в Одессе на базаре.

Сознаюсь, это было сказано неудачно.

Жена поглядела на меня так, как будто ей стоило больших усилий, чтобы молчать. Ее внезапная вспышка и затем неуместное красноречие по поводу моего желания помочь голодающим были по меньшей мере неуместны; когда я приглашал ее наверх, я ожидал совсем иного отношения к себе и к своим намерениям. Не могу сказать определенно, чего я ожидал, но ожидание приятно волновало меня. Теперь же я видел, что продолжать говорить о голодающих было бы тяжело и, пожалуй, не умно.

Да... забормотал Иван Иванович некстати. У купца Букова тысяч четыреста есть, а может, и больше. Я ему и говорю: Отвали-ка, тезка, голодающим тысяч сто или двести. Все равно помирать будешь, на тот свет с собой не возьмешь. Обиделся. А помирать-то ведь надо. Смерть не картошка.

Опять наступило молчание.

Итак, значит, остается одно: мириться с одиночеством, вздохнул я. Один в поле не воин. Ну, что ж! Попробую и один воевать. Авось война с голодом будет более успешна, чем война с равнодушием.

Меня внизу ждут, сказала Наталья Гавриловна. Она встала из-за стола и обратилась к Ивану Ивановичу: Так вы придете ко мне вниз на минуточку? Я не прощаюсь с вами.

И ушла.

Иван Иванович пил уже седьмой стакан, задыхаясь, чмокая и обсасывая то усы, то лимонную корку. Он сонно и вяло бормотал о чем-то, а я не слушал и ждал, когда он уйдет. Наконец, с таким выражением, как будто он приехал ко мне только затем, чтобы напиться чаю, он поднялся и стал прощаться. Провожая его, я сказал:

Итак, вы не дали мне никакого совета.

А? Я человек сырой, отупел, ответил он. Какие мои советы? И вы напрасно беспокоитесь... Не знаю, право, отчего вы беспокоитесь? Не беспокойтесь, голубчик! Ей-богу ничего нет... зашептал он ласково и искренно, успокаивая меня, как ребенка. Ей-богу ничего!..

Как же ничего? Мужики сдирают с изб крыши и уже, говорят, где-то тиф. Ну, так что же? В будущем году уродит, будут новые крыши, а если помрем от тифа, то после нас другие люди жить будут. И всё равно помирать надо, не теперь, так после. Не беспокойтесь, красавец!

Я не могу не беспокоиться, сказал я раздраженно.

Мы стояли в слабо освещенной передней. Иван Иванович вдруг взял меня за локоть и, собираясь сказать что-то, по-видимому, очень важное, с полминуты молча смотрел на меня.

Павел Андреич! сказал он тихо, и на его жирном застывшем лице и в темных глазах вдруг вспыхнуло то особенное выражение, которым он когда-то славился, в самом деле очаровательное. Павел Андреич, скажу я вам по-дружески: перемените ваш характер! Тяжело с вами! Голубчик, тяжело! Он пристально посмотрел мне в лицо; прекрасное выражение потухло, взгляд потускнел, и он забормотал вяло и сопя:

Да, да... Извините старика... Чепухенция... Да...

Тяжело спускаясь вниз по лестнице, растопырив руки для равновесия и показывая мне свою жирную громадную спину и красный затылок, он давал

неприятное впечатление какого-то краба.

Ехали бы вы куда-нибудь, ваше превосходительство, бормотал он. В Петербург или за границу... Зачем вам тут жить и золотое время терять? Человек вы молодой, здоровый, богатый... Да... Эх, будь я помоложе, улепетнул бы, как заяц, и только бы в ушах засвистело!

Трое составляют совет! (лат.).